

Татьяна Мартынова

Дни нашей жизни

Опять мы на дорогах войны

Пыль и зной. Смесь бульдога с носорогом, по кличке Рыжая, приняв от бабы Фроси надкушенный сочень, держит хвост пушистым колечком. Она идет поделиться сочем с кобелиной Серым, вечно валяющимся на территории рынка. Свободных мест в тени не так-то много, а там, у пустых коробок, рядом с павильончиком канцтоваров на третьей линии обитает не только кобель, но и тетя Маша, веселая молодая красавица, ежедневно выкладывающая перед Серым вкусняшки из целлофанового кулечка. Серый научился жрать оливье и кусочки куриной колбаски, не вставая с места. Его лоснящаяся шерсть очень приятно пахнет. У него хитрый прищур желтых глаз, расплывшаяся в неизменной улыбке морда, грязные подушки лап и... «...и все остальное...» – думает, путаясь в своих желаниях, Рыжая. Сочень может стать ее ключом к счастью. А в благосклонности Серого она почти уверена. Ни разу не зарычать! Это дорогого стоит. Да и тетя Маша не отгоняла еще Рыжую ни разу, хотя решиться подойти к еде очень трудно.

Рыжая – собака не местная. На Конной месяц назад ее забыла хозяйка. Пошла в аптеку, привязала Рыжую к решетке, но из аптеки так и не вышла. Только еле уловимый старушечий запах пронесся мимо ноздрей Рыжей вместе с запахом медикаментов, но тут же был выключен газовым выхлопом белоснежной «скорой». Хозяйка Василиса Прокофьевна так и не вернулась отвязать свою любимицу. Это сделали за нее добрые люди.

– Пошла! Пошла! Ишь, развылась! – сказал ей тогда приличного вида дворник и тронул метлой.

Ну, ничего. На улицах жить тоже очень хорошо. Лето. И много брошенных кусков. Вот и сейчас ей достался сладкий творожный сочень. Жаль только, что мучное ей вредно. Поджелудочная шалит, проклятая. Но, может быть, Серому понравится сладенькое. Десерта у него не бывает... Она долго ждет, когда проедет транспорт по перекрестку Торговой и Коблевской, и уже почти по-хозяйски оглядывает Новый рынок: опять непорядок. Грузчики со своими тележками прутся под автомобили, а автобус номер сто шестьдесят восемь застрял у поликлиники – ни туда, ни сюда. «Проезжай уже! – с сердцем восклицает про себя Рыжая. – Не поймешь, бежать или нет!» Она оглядывается на Тасю, продающую карточки пополнения счета для мобильных, ожидая команды. Но девушка, полюбившая уже командовать Рыжей, занята. Она говорит по телефону. «Ну да, третья мобилизация, ёшкин кот!» – слышит Рыжая, как Тася объясняет кому-то в трубку, в чем дело. Очевидно, речь о котях. Если эти коты чем-то навредили Тасе, она их порвет! Рыжая бросится мгновенно. Еще бы... За нашу Тасю?! Собака замирает, повернув голову к Тасе, прислушивается чутко:

– И Вовчика забрали! Сечешь? В Новой Дофиновке его нашли. Хотя он там и не прописан. Он же на Героев Сталинграда прописан. Ну, Вовчик Почувел! Что с Галкой Ищенко, помнишь Галку? Они уже лет десять вместе. Он думал, что туда не доберутся... Да! А ты знаешь, что Ваську уже убили? Под Краматорском. Гаубичным, в куски! Как – какой Васька? С нашей школы. С двенадцатой! Росстрий! На Заболотного жил, только не в нашем номере. На углу Днепропетровской дороги... Ага! Он же тоже в девяносто девятом заканчивал. «А» класс. А в прошлом году военное училище закончил. Такой парень! Только женился... Вот ужас, да? Мать с приступом в больнице. Ну что делать?! Что? Эти же с-суки не успокоятся!..

Рыжая поехала: уж не о ней ли речь... В таком тоне... Да еще и этот автобус! Всè! Он застрял. Надо успеть на ту сторону.

Черный блестящий автомобиль выскочил из-за автобуса внезапно. Рыжая отлетела на обочину, переброшенная через его капот со шлепнувшимся во что-то пустое звуком, ахнула, задержалась на тротуарной плитке и погасла. Сочень ударился рядом.

Машина промчалась, вильнув и выравнивая путь, дальше. Тася вскочила и выбежала из-под своего зонтика:

– Рыжая! Да куда же ты смотришь, козел! Собаку убил!

Трехлетний мальчик, увидев раздавленное животное, вырвал руку из цепкой бабушкиной, потянулся к Рыжей и громко заплакал.

Старик

– А еще, деточка, я воевал в Венгрии. Венгры – это цыгане. Я там контужен был. Голова... Сейчас зрение ноль целых, пять десятых. Вот, фотографию тебе хочу подарить. Я здесь уже офицер. А это мой командир. Коля, украинец. Мы на Третьем Украинском воевали. Мы дружили. Сам Жуков его награждал. И руку ему пожимал. Я Жукова вот как тебя видел. Близко. Ай, деточка! Как мне тебя благодарить? Ну не думал я, что буду здесь, в Одессе, сидеть на вокзале три ночи... Ты в банке работаешь? Мне нужна моя карточка, на которую я пенсию получал. Мне три семьсот должны дать в месяц. У меня хорошая пенсия сейчас. Не могу найти карточку. В Киеве ее потеряли.

– Нет, я в банке никогда не работала. Поищите в своей кошелке. Найдется, – отвечаю.

– А ты работаешь, деточка?

– На пенсии.

– А молодая такая... Я всю жизнь до работы был просто дурной. Я рвался работать. У Лиды Гусаковой план был полторы тысячи килограммов меда в год сдать государству, а она передовик, сдавала четыре тонны с колхозной пасеки. Триста процентов плана! И я был главный зоотехник района по пчеловодству. Амвросиевский район в передовых был по пчеловодству и по другим отраслям, двадцать шесть колхозов. Спроси любого: Самойленко Леонид Владимирович! Я мотался. Это же Донецкая область! Все по жару. Степь... А сначала я работал на колхозной пасеке. Помню, начальник главка, грек один, Балтарджи его фамилия, ко мне приехал: позарез нужно восстановить... Любовница у него. Ну, ты понимаешь, детонька... Мужскую силу. Я тогда Лиде гово-

рю: «Достань пару маточников». Маточкино молочко – первое дело! И прополис! Да. А пыльца тоже... Я помогал. И начальник областного ГАИ приезжал. Я ему язву прополисом вылечил, 50 грамм прополиса на пол-литра самого лучшего самогону. Настаивать... И ему лечил вот это самое... Тоже он был мне очень благодарен. У меня столько друзей, деточка. И все – самые главные в области! Один говорит: «Что тебе будет нужно, не стесняйся, прямо ко мне!». Ну что мне нужно? Квартиру мне дали. В Амвросиевке. Хорошая. Однокомнатная. Да... Я их лечил. Но! Надо знать меру... Один, максимум полтора маточника. И хватит. Иначе мужчина сбесится. А они думают, что надо побольше всего... Нет, надо в меру брать. Два маточника – это уже с головой... и хватит. А иначе мужчина ни о чем, кроме бабы, думать не сможет. И злой становится, страсть какой злой, бесится. Даже полтора.

Колхоз «Украина» наш был самый лучший в районе. Мы ж тогда дурными были. Мы план перевыполняем, а нам спускают новый, уже завышенный. И чтобы опять в передовиках району ходить, с нас последние соки жмут – перевыполняй! Деточка, я старик. Как сейчас все заросло! Поля же не возделываются. После этой незалежности все же крахом пошло. Больно глядеть. Мне восемьдесят девятый год. Я с семнадцати лет на фронте. В Херсоне жил до войны. У меня мама была учительница украинского языка и литературы. Как она любила украинские песни: «Чорнії брови, карії очі, Темні, як нічка, ясні, як день! Ой мої очі, очі дівочі, Де ж ви навчилися зводити людей?» – запел густым красивым баритоном Леонид Владимирович, ничуть не фальшивя. – А всех мальчишек тогда в армию позабирали. Не смотрели уже на возраст. Я ж не рвался в армию. А как мы мерзли в окопах, солдатики! Зима. Мы друг к дружке все собьемся, только так и выжили. А те, кто с краю оказывался, менялись потом с теми, кто в центре. Нельзя же... Людми надо быть. Потому и победили мы фашиста!.. Когда фронт подошел, когда погнали их, моего друга одного, шестнадцатилетнего, отправили на краткосрочные курсы минеров, и он через неделю уже разминировал поля. Немцы после себя оставили много мин. Все заминировали. Его разорвало. Погиб.

– Леонид Владимирович, идите мойтесь. После ванны поужинаете.

– А! Это правильно! Я в какой-то рай попал. Деточка, а почему вы меня взяли? Я вам понравился?

– О-о! Леонид Владимирович! Разговорчики у вас. Очень понравились. Не сидеть же вам на вокзале.

– Танечка! Мне надо спину...

– Сейчас! – беру с газовой плиты очередную кастрюлю с горячей водой, иду в ванную, тру его костлявое тельце инопланетянина, поливаю. Леонид Владимирович кряхтит от удовольствия. Заворачиваю в простыню, вытаскиваю. Разогревшегося тащу в отведенную комнату.

– Вот я... Я не еврей. Так? У меня ж только дед бы евреем. Дед Яша, – бормочет старик. – Все умел делать, все. Но меня евреи принимали за своего. Один был у нас в институте, во Львове, где я на агронома учился, его поставили после войны секретарем парторганизации всего института, тогда евреям на какое-то время, ну, ты понимаешь, после войны была «зеленая улица», и он меня выделял из студентов, домой приглашал. «Не высовывайся и в партию никогда не вступай!» – такой совет мне дал. На всю жизнь. И я не вступил. А все думали, я в партии. Потому что я работал, как коммунист. Как настоящий коммунист. Света белого не видел. Сейчас не знаю, что там у нас в Амвросиевке делается. Соседка сказала: «Езжайте в Киев, Леонид Владимирович, здесь вам не выжить, пенсию же не платят!». Снаряды рвутся то здесь, то там. Соседскую девочку, восемнадцать лет не было, украли, убитую потом нашли. Насиловали девочек... Ай, деточка. Сколько горя! Я думал, что победим Гитлера, и это уже будет последняя война. Должны же люди понять... Зачем сейчас воюют? Договориться нельзя было? Пенсию не платят. А в Киеве вам, говорит, будут платить. Найдете свою дочку. А как же я Леночку найду, если она в Мурманске? Она учительница музыки. В Макеевке заканчивала педагогический музыкальный институт. А с женой, покойницей, мы давно развелись. Бросила меня. Потому что меня все время дома нет, я на работе! Она маму мою из дома выжила. Маму... Мама последний кусок в войну недоедала, все мне... Когда в оккупацию голодали... В шестьдесят лет умерла бедняжка, царствие ей небесное, – старик крестится.

– Это мама мне посоветовала во Львов ехать учиться на агронома. Когда я с контузией демобилизовался. После войны нужны будут агрономы, говорила. Учителя впроголодь живут. Папа мой математику преподавал. Рано умер. Меня так хорошо натаскала по-украински, что я на вступительном экзамене только две ошибки сделал. Красивый язык. Хороший. Как русский. Да я тебе так скажу, деточка, плохих языков вообще нету. Люди все портят. Я в Венгрии был... Сейчас... Что я хотел сказать... А! Квартира у меня... На втором этаже. Интернациональная, девять. Квартира четырнадцать. Может, и нет ее уже. Может, уже разбомбили... Неделю назад я поехал в Киев. А в минобороны меня направили в Одессу. Купили билет и отправили. И что? Что я должен делать в Одессе? Ко-ро-ди-ционный центр по делам переселенцев. Беженцев, значит... Они дали мне вот эту одежду. Я мог там спать. Меня все любили. Потому что я работал всю жизнь до седьмого пота, всегда. А никогда меня в советское время к наградам не представляли в области. Никогда. Потому что я не коммунист. И все удивлялись. А я отшучивался.

А тогда Моисей Борисович, золотой человек, пусть земля ему будет пухом, меня пристроил после института под Киев, не помню уже, как это место называлось... садовником, там был интернат для инвалидов войны, и меня там кормили. Я молодой был. Он меня еще во Львове домой приглашал и все своей жене говорил: «Зачем у студента спрашивать, хочет он есть или нет? Ты накрыла на стол – и зови! Студенты всегда голодные!». Как они пели, инвалиды! Пили тоже... Но пели... «Розпрягайте, хлопці, коні Та лягайте спочивать. А я піду в сад зелений, В сад криниченьку копать. Копав, копав криниченьку У вишневому саду... Чи не вийде дивчинька Рано-вранці по воду?»

Я нахлобучиваю ему шерстяную шапку на бритую седую головушку.

– О! Это ты правильно. У меня голова все время мерзнет, Танечка. И один молодой, русак – красавец, Коля тоже, Николай, без ног он был, так хорошо на балалайке играл! Ах, молодой! «По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой. А дева там плачет над быстрой рекой. О чем, дева, плачешь, о чем, дева, плачешь, о чем, дева, плачешь, о чем слезы льешь? Цыганка

гадала, за ручку брала, Брала за другую, смотрела в глаза: Не быть тебе дома замужней женою, Не быть тебе дома замужней женою, Не быть тебе дома замужней женой! Потонешь, девица, в день свадьбы своей». И – на пожизненно в этом интернате... Но он повесился. Не захотел без ног жить. Охо-хо-о...

Ужинает Леонид Владимирович уже в постели.

– А зелененького у тебя нет чая, деточка?

– Зеленого нет. Могу кофе сделать, если черный чай не подходит.

– Не-ет! – счастливо смеется. – Если б ты предложила коньячку! Я денег дам, может, сходишь?

– Нет, не положено! А деньги вам еще на жизнь пригодятся, – объясняю, боясь, что старик разбушует от глотка спиртного или умрет.

– Слушаюсь, – спешит он. – Черный чай тоже сойдет! Сахару туда... Во-от! Печеньице? Только два?

– Да у меня нет больше, – говорю. – Могу хлеб с вареньем.

– О! Варенье! – восклицает он с радостью.

Приношу варенье. Старик никак не может наесться. Наконец засыпает, распорядившись включить на полную громкость телевизор. Его интересуют новости с фронтов, которые нигде и никогда не заканчиваются в его долгой жизни.

Утром я иду на базар, нужно готовить еду для этого гостя из привокзального приюта. Беженцы с Востока все лето идут мощным потрясенным потоком: война, а теперь еще и осенняя погода прибавляют им всем тоски, отчаяния и чувства безнадежности. Одесситы помогают кто чем. Поживет, согреется и этот одинокий дедушка. Возвращаюсь с базара и застаю его в своей комнате. Он – в трех свитерах, в конце сентября и в Одессе резко похолодало, сидит за фортепиано. Твердыми крючочками-пальцами по памяти извлекает из него мелодию сороковых годов прошлого века. Я сажусь рядом и слушаю песни его молодости. Леонид Владимирович горделиво улыбается: публика в сборе. Его голос полон детской радости: «Мы с тобой далеко друг от друга. Только в письмах мы близки с тобой. Если песня – любовь и подруга, значит, песня – товарищ родной. О тебе мне шептало и лето, Осень – ветром, и вьюгой – зима. Но милей

и теплей всех приветов – этот запах родного письма. Все вокруг как-то станет светлее, пощекочет ресницы слезой, И на сердце теплей и милее оттого, что ты рядом со мной...».

Все изъявили согласие

Пришлось вставать, так как сон закончился. Перебрав его мысленно, как пачку старых фотографий, увидев себя в нем молодой и красивой, Ирина Петровна поняла, что не все еще потеряно, приободрилась и зашаркала в ванную, на кухню, включила газ, «Гармонию мира», электрочайник, микроволновку, телевизор, массажер, ноутбук, блендер. В миг, когда она включала телевизор, ее холодильник робко выразил свое недовольство, но уж настроением этого-то старикашки можно было пренебречь. Ирина Петровна только изменила его режим с общего на строгий, проверила, какое бельецо накопилось в стиралке, и машину включила по щадящей программе, пусть себе воображает, что работает с шелком. В конце концов, Ирина Петровна шелковое белье за свою-то нелегкую трудовую жизнь заработала.

Пока возилась, блендер выдал ей банановое суфле со сливками, хотя Ирину Петровну от него воротило. К тому же с утра у нее онемел и заплетался язык, она почти не различала вкуса. Но надо было есть что дают, не капризничать, и она ела, просматривая вчерашние и утренние новости, успевая прислушиваться к массажеру, щиплющему ее поясницу, и закрывая глаза на особенно высоких регистрах хора, исполняющего «Всенощную» Рахманинова. «Гармония мира» никогда не обманывала ее ожиданий, вчера Ирина Петровна слушала немецких романтиков, сегодня звучал русский Рахманинов, на завтра она мысленно загадала «Поэму экстаза» Скрябина. Послезавтра, и это она тоже предчувствовала, будет Стравинский. «Золотого петушка» довелось услышать лишь в зрелые годы, когда приехала в Ленинград на курсы повышения квалификации. Тысяча девятьсот восемьдесят второй год – Господи, как давно! И теперь Ирина Петровна шепотом заказала Стравинского на послезавтра.

Ей в жизни не везло. Когда-то она была маленькой. Но в детстве не чувствовала себя ребенком, не могла беззаботно веселиться с остальными. И когда сверстники и дети помладше играли в свою обычную игру «цветы» («Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме... розы!» Или – «фиалки!»), она вдруг отходила в сторону, чувствуя резкий запах сорванного и измятого цветка, стояла, отвернувшись от компании, и еле справлялась с рыданиями, а в такие игры, как прятки, догонялки, кошки-мышки, ее даже и не звали.

Уже в школе ее одолевали страхи, не отдадут ли ее кому-нибудь. Придет мама с работы и скажет весело и бодро: «Собирайся, Ирочка, за тобой уже пришли!». Кто мог прийти, зачем ее нужно было отдавать кому-то? Она даже не задавала себе такого вопроса, настолько абсурдным был ее страх. Она и сама это знала. Но долго, много лет, с приближением вечера эта фантазия надвигалась, как темный мешок. Никогда Ирочка не признавалась любимой маме в своих тревогах. В студенческие годы, когда девочки в общежитии, развеселясь, били друг друга общими тетрадами или подушками, она замирала: ей казалось, она не перенесет любого удара, даже самого легкого, вроде шуточного похлопывания по плечу. Что уж говорить об ударе по голове... А уж чтобы самой кого-то ударить... Нет. И она выходила из комнаты.

Замужем она была недолго, каких-нибудь лет двадцать пять. Только подросли дети, как муж сказал ей, что жить с нею больше невозможно, он устал от ее испуганных глаз, настороженного ожидания неизвестно чего.

– Ты живешь, как растение живет! Ну скажи, где? Где смысловой каркас твоей жизни? Его нет. До сих пор ты не вывела для себя ни фундаментальных, ни общих понятий об этой жизни. А ведь ты считаешь, что занимаешься наукой... Преподаешь в университете! И вообще...

Томления и страхи надоедают, исполнять чьи-то желания и выслушивать жалобы на здоровье он больше не намерен. У него есть и свои желания. При этом он быстро переключался на столе, как будто еще раз пересматривая, набор открыток «Японская цветная гравюра». А ей надо проснуться и учиться жить реальной жизнью!

Потом Ирина Петровна собрала рассыпавшиеся веером на полу репродукции с гравюр Хокусаи, Утамаро, Харунбоу, Кийбонага.

Под реальной жизнью муж подразумевал уже стареющую в нетерпеливом напряжении любовницу, к тому времени оценившую все и вся в их доме, подумала Ирина Петровна. Была приятельницей их семьи. Недавно подарила Ирине шелковый халат с драконами на спине. Скучные формальности по отчуждению имущества впоследствии та дама так же по-приятельски взяла на себя. Муж и за это был ей благодарен. Деловая хватка!

Ирина Петровна сделала музыку погромче. Что же такого «растительного» происходило в ее жизни? Все как у всех... На работе она числилась среди отстающих. Во всяком случае, ее никогда не выдвигали в президиум собраний, не вызывали на трибуну для доклада на конференциях, хотя в списках ее доклад всегда значился – правда, не в первом десятке. А выступающие, увлекаясь, так затягивали время, что очередь до нее никогда не доходила. Председательствующий, поглядывая на часы, вставал и предлагал подвести черту: «Надеюсь, что все уважаемые присутствующие изъявят свое согласие на этом последнем выступлении и остановиться! Всем спасибо за внимание. Тезисы докладов будут отправлены вам позднее. Столовая еще работает!». И когда становилось понятно, что выступить не удастся, Ирина Петровна чувствовала огромное облегчение.

Но на лекциях ее слушали. Хотя... Студенты – вообще странный народ... И как хорошо, что наступила старость. Теперь Ирина Петровна могла отдышаться. Дети перестали приходить к ней выяснять отношения, перестали швырять на пол ее книги, разложенные по стульям и столикам, чашки с недопитым чаем, оставленные ею то тут, то там среди бумаг. Перестали кричать, что она должна проснуться и начать жить реальной жизнью. Ирина Петровна, которая в одну минуту проживала сразу несколько временных пластов, никак не могла понять, взрослые они уже или еще маленькие. Она видела Витеньку коротеньким сердитым крепышом в штанишках на ляпочках. Удержать его невозможно. Вот он бросается к магазину игрушек на Екатерининской и настаивает на покупке машинки так громко, что на его крик сбегаются все – и покупатели, и продавцы: «Да купите вы, мамочка,

ему эту игрушку! Нельзя же доводить ребенка до такого крика. Что за жестокость у современных мамаш: завела в магазин – и ничего не покупает!». Но у Витеньки дома уже целый парк машинок... А им еще предстоит стоять в очередях за молоком и яйцами. В «продтоварах» не протолкнуться, но может быть, повезет, и там же к вечеру «выбросят» на прилавок государственных кур. Слабенькая Ирина Петровна сгребает Витеньку в охапку с зажатой в его ручках машинкой и еле-еле уносит на своих руках. Ходить ножками ребенок еще не любит.

Одновременно Ирина Петровна видит Витюшу большим. Ну да, ему же под сорок. Господи, и он стоит в комнате, широко расставив ноги, и отрывисто объясняет ей свое намерение идти в добровольческий батальон АТО. «Надо дать понять этим сепам, что у них нет ни единого шанса!» – «Ты готов убивать?!» – застывает она с ужасом в глазах и сердце.

А рядом плывет река напластовывающихся картин пробуждения в кроватке улыбающейся пятилетней дочки: «Я хочу жить с вами, мамочка, вместе всю жизнь! Папа, ты, Витя и я». И одновременно это берег моря. И аллеи парка. И заполненный зрительный зал оперного театра. И афиша выступления ее мужа: «Арфа Орфея, импровизации». Дочь живет отдельно, ей тридцать пять. Тиночка вполне приспособлена к жизни. Не звонит, ну, что же делать... И к ее маленькой дочке приставлена няня. «Все хорошо», – думает Ирина Петровна. Молодые годы прошли, но как же это получилось, что Рахманинова она слышит по-настоящему только сейчас? И тут же замечает, что отчаянно боится. Чего ей бояться? «Если идет война. Если там гибнут люди... Можно ли надеяться на жизнь? – лихорадочно роятся мысли Ирины Петровны. – Можно ли бояться за свою жизнь? Рядом погибают люди. Что за страшная бессмыслица? Это – тоже реальная жизнь, да-да, теперь я понимаю, что имеется в виду... Реальная жизнь – это распад, разрушение, это гибель. Это свиноподобные рыла на экране. Это вооруженные головорезы. Это бегущие по улице за своей очередной жертвой стаи великовозрастных балбесов или подростков-революционеров. Но Всеночное бдение говорит о другом! – встрепенулось ее сердце. – Да! О другом! О другой жизни...»

Какая же это радость, что Бог существует!

С экрана телевизора тем временем неслись безгласные, очевидно, резкие вопли политиков, но при выключенном звуке телевизора одинокая духовная музыка из радиоприемника поднималась победно и революционно, взывая к Господу, к милости Его, разуму и добру, давая радостную надежду, проходя камень и бетон, утешая таких же одиноких и страдающих, как она. «Все сокровища мира, которые были недоступны мне всю жизнь, теперь здесь, у меня! Кто бы со мной не согласился сейчас? – подумала Ирина Петровна, глядя восторженно в динамик приемника. – Какое освобождение!» – она улыбнулась. Помнит ли она псалмы, которые когда-то слышала в храме? Когда-то читала? Пришло на ум только несколько слов: «Благослови, душе моя, Господи... Вся к Тебе чают, дати пищу им во благо время. Давшу Тебе им, соберут, отверзшу Тебе руку, всяческая исполнятся благости, отвращу же Тебе лице, возмьются, отъймеси дух их, и исчезнут, и в персть свою возвратятся. Послеси Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли». Хор вел свою величавую хвалу медленно. Чистые звуки лились, как солнечный свет в прорези окон. Рождение мира происходило сейчас, свет и тьма сменяли друг друга. Сотворение живого на земле во всей красоте и разнообразии, сложности и простоте совершалось и порождало тихое изумление. Ирина Петровна шла по всем ступеням, не замечая высоты. «Блажен муж, бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело. Сильно на земле будет семя его, род правых благословится. ...Возсия во тме свет правым, милостив и щедр, и праведен». Мелодия Рахманинова несла и несла, как пушинку, Ирину Петровну, переставшую чувствовать себя Ириной Петровной, все выше. На какой-то миг ворвались в ее слух мотивчик и слова веселой советской песни «Все выше, и выше, и выше Стремим мы полет наших птиц! И в каждом пропеллере дышит...» «Ну, из песни слов не выкинешь», – усмехнулась она и, закрыв глаза, снова окунулась в шумящие, волнующие своей беспредельной красотой звуки «Всенощной».

